

ОБАЯНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРЕЗЫ, ИЛИ ЭРОС ТЕРРОРИЗМА

Александр Мотелевич Мелихов

Писатель, философ, литературный критик, публицист.

Кандидат физико-математических наук.

Заместитель главного редактора журнала «Нева».

Произведения переводились на английский, датский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки.

Лауреат множества премий, номинант премии «Русский Букер».

Участник ряда социальных российско-европейских программ.

Разрабатывает концепцию «человека фантазирующего», рассматривая историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных грез.

E-mail: amelikhov@mail.ru

THE CHARM OF THE REVOLUTIONARY DREAMS, OR EROS TERRORISM

Alexander M. Melikhov

Writer, philosopher, literary critic, publicist.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences.

Deputy chief editor of the magazine “Neva”. The works were translated into English, Danish, Hungarian, Italian, Chinese, Korean, German, Polish.

Winner of many awards, nominee of the Russian Booker Prize.

Member of a number of social Russian-European programs.

Develops the concept of a “man of the fantasist”, considering the history of mankind as the history of the origin, struggle and disintegration of collective dreams.

E-mail: amelikhov@mail.ru

Статья посвящена видному деятелю русского народничества — Сергею Михайловичу Кравчинскому, выступавшему в эмигрантской прессе под псевдонимом Степняк (1851–1895). Для автора история жизни Степняка-Кравчинского важна в качестве материала для нового романа: революционер стал прототипом одного из героев. Подробно рассматриваются его поступки, в конце XIX в. считавшиеся подвигом, дана рецепция исходя из позиций сегодняшнего дня. Смена идеологий оказалась роковой для героев революции, зачастую предстающих перед современным читателем демифологизированными, лишенными романтиче-

ского ореола убийцами и террористами, которыми они и являются. В рамках своей философской системы автор анализирует революционную грезу и объясняет фундаментальные причины, по которым она не выдержала проверки временем.

The article is devoted to the prominent figure of Russian populism — Sergey Mikhailovich Kravchinsky, who spoke in the émigré press under the pseudonym Stepnyak (1851–1895). For the author, the life story of Stepnyak-Kravchinsky is important as a material for a new novel: a revolutionary became the prototype of one of the heroes. Details are considered his actions, at the end of the XIX century. considered a feat, a reception is given on the basis of today's positions. The change of ideologies turned out to be fatal for the heroes of the revolution, who often appear before the modern reader to be demythologized, deprived of the romantic aura of murderers and terrorists, which they are. As part of its philosophical system, the author analyzes the revolutionary dream and explains the fundamental reasons for which it could not stand the test of time.

Ключевые слова: Степняк-Кравчинский, народничество, русская революция, коллективная греза, идеализм, материализм.

Keywords: Stepniak-Kravchinsky, populism, Russian revolution, collective dream, idealism, materialism.

Тема

...Но оказалось-то, что смертельный риск и верная смерть — дьявольская разница. Дьявольская разница — пир во время чумы, близостью гибели тысячекратно обостряющей наслаждение каждым, быть может, последним мигом, и лоснящееся яйцо пурпурного, как ненастная заря, истекающего сукровицей и гноем чумного бубона. Дьявольская разница — шипенье пенистых бокалов и кровавая пена из отравленных чумою легких. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, но его нет под надвинутым на лицо безглазым капюшоном прокаженного в лапидарах хама в красной рубахе, жилетке с длинной золотой цепочкой и смазных сапогах бутылками.

Я с детства мечтал быть то последним из могикан, восставшим против бледнолицых завоевателей, то карбонарием, сражающимся с угнетателями моего народа, то путешественником, покоряющим африканские дебри, то естествоиспытателем, побеждающим чуму, и всегда меня провожала на подвиг какая-то неясная, но неизменно прекрасная девушка — все мои трофеи я рано или поздно складывал к ее ногам. И какое же это было счастье — узнать, что угнетенные живут рядом с нами, что это те самые мужики, которые робко ломали шапку при входе в наш господский дом и почтительно благодарили отца за како-

е-то очередное его благодеяние. И как же отец оскорбился, когда я ему сказал, что он просто возвращает народу малую часть награбленного, он отчеканил, что главное наследие нашего рода — это двести тридцать шесть погибших на полях сражений, а лично его главный дар народу — это образцовое на немецкий лад хозяйствование, которое он завел в наших имениях. Он намекнул еще, что и наши дворцы и собрания картин тоже когда-нибудь сделаются общедоступными музеями, но — если хочешь служить Справедливости, оставь отца и мать и иди за нею. Я не приехал даже на его похороны: предоставь мертвым хоронить своих мертвецов, сказала мне Справедливость. Я находился в розыске, и наше дело не оставляло мне права рисковать. И чем мучительнее мне было думать о горе моей матери, вслед за любимым сыном потерявшей и любимого супруга, тем большей гордостью наполняло меня исполнение другого завета нашего божества — Справедливости: оставь отца и мать и иди за мной. Жертвовать сытостью и удобствами жизни был готов каждый из нас, но превыше всего ценилась жертва любимыми людьми.

Именно сознание нашей обреченности придавало нашей любви с Липой особенную возвышенность. Когда я впервые был сочтен достойным счастья быть принятым в сообщество лучших людей России, а значит, и человечества, декорации, признаться, слегка разочаровали мою дворянскую душу: средне-чиновничья квартира, овальный стол, стулья, рояль... Но за роялем сидела Лорелея — огромные голубые глаза, перекинутые через плечи косы, отчеканенные из червонного золота, каждая толщиной в руку... Она приветливо кивнула мне, словно старому другу, и тут же загремели струны. Такой красоты контральта я не слышал даже в императорском театре: «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно...». И каждый раз меня обдавало восторженным морозом пророчество: смело, братья, буря грянет, закипит громада вод...

Мы не страшимся этого моря! Велика ли важность, что в роковом его просторе много жертв погребено — тем драгоценнее каждая минута счастья! Мы знали, что не имеем права на семью, и самым сладостным из наших наслаждений было вместе смотреть в окно на ночное небо. В Петербурге редко видны звезды, но нам было достаточно знать, что они есть за облаками. Мы знали это так же верно, как то, что ценою нашего маленького личного счастья мы приближаем счастье всеобщее братства: там за далью непогоды есть блаженная страна, не темнеют неба своды, не проходит тишина.

В последний раз я случайно увидел ее в коридоре Дома предварительного заключения в пропитанном неизвестно чьим потом арестантском халате и стоптанных, приспадающих с ног котях, и я, подобно жене знаменитого декабриста, прежде чем обнять ее, приложил бы к губам полы этой дерюги, но нас не подпустили друг к другу.

О том, что она вышла замуж, я узнал в тюрьме, но это не изменило моего чувства к ней: я любил ее не для личного счастья — в нем я ощущал бы себя слишком маленьким и заурядным, а я хотел быть большим и красивым, — я с самого начала считал себя обреченным на гибель. И мне не так уж хотелось повидать ее — зачем смущать и ее, и мой покой, мои душевные силы были необходимы для нашей великой цели. Мне сказали, что теперь она губернская львица и с маленькой девочкой, разодетой как куколка, каждый вечер катается в коляске по тамошнему Невскому проспекту. Ну что ж, катается и пусть себе катается. Я бы и тогда легко отдал жизнь для ее спасения, но бесцельные страсти казались мне почти преступной роскошью. Когда в надежде освободить Бастарда я оказался в этой южной столице, я позволил себе лишь немного постоять перед ее домом со стороны сада.

Образ героя

Мой будущий роман, первый набросок которого предлагается читателю, назван «Соединенные Штаты Мечты». Отдельные эпизоды вдохновлены революционерами-народниками, точнее — одним из них, Сергеем Михайловичем Кравчинским (1851–1895), писавшим и публиковавшим свои сочинения под псевдонимом С. Степняк. Вехи его личностного становления — дворянин, военный, агроном-недоучка, участник «хождения в народ», перетолковывавший крестьянам Евангелие на социалистический лад. Пленник царской охраны. Нелегал. Эмигрант. Анархист. Участник «Земли и воли». Террорист. Убийца шефа жандармов Николая Владимировича Мезенцова (1878). Снова эмигрант (Швейцария — Италия — Англия), журналист, общественный деятель. Друг Этель Лилиан Войнич, вдохновивший писательницу на создание романа «Овод».

Потребность в героизме и определенность рефлексии

Степняк-Кравчинский был одним из кумиров моей юности. Даже самый факт его смерти казался мне событием высшего порядка: 23 декабря 1895 года он был сбит поездом в пригороде Лондона, и такая кончина выглядела мгновенной и прекрасной жертвой той революционной стихии, ради которой Степняк жертвовал личным счастьем и благом, прежде всего своим, но, впрочем, и близких. Они, истовые народники, борцы за всеобщее благо, непременно в грядущем, так и считали: личным надо жертвовать, без этого ничего не произойдет, храм грядущего воздвигнется только на крови. И пусть это будет их кровь или чужая, не жалко, цель оправдывает средства. Прочтите предсмертное письмо Софьи Перовской к матери: «Дорогая моя, неоцененная мамуля. Меня все давит и мучает мысль, что с тобой? Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня, побереги себя ради всех, окружающих тебя, и ради меня также. Я о своей

участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии; поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне» (Якимовская-Диковская А. В. (ред.), 1930: 251).

В рамках данной статьи это аксиологическое явление можно назвать *идеализмом первого порядка*.

Сегодня, в 2019 г., подобная парадигма мышления для нас немыслима. Но мы нынче и не революционеры. Однако всего несколько десятков лет назад дело обстояло иначе: тогда молодежь бредила революционным подвигом и перебалывала пафосом неизбежных страданий и кровавых жертв. Я не стал исключением.

Первоначальная установка, моя исходная греза (краеугольный камень мировоззрения!) предопределяла восприятие обстоятельств жизни Кравчинского, во все не таких героически прекрасных и нравственно безупречных, если смотреть со стороны голых фактов. Меня восхищало, что свои знания военного артиллериста он направил на служение восставшим в Герцеговине против турецкого ига, и я не стремился узнать, что вместо партизанского отряда он оказался членом шайки разбойников. Что он, Кравчинский, участвовал в вооруженном восстании в итальянской провинции Беневенто и от казни его спасла лишь амнистия по случаю коронации; меня не удивил сам факт такой амнистии, а ведь на деле полиция схватила героя еще до того, как группировка, к которой он принадлежал, успела перейти от слов к делу, поэтому узников выпустили до суда за отсутствием состава преступления. Наконец, фигура Н. В. Мезенцова не казалась мне заслуживавшей отдельного разговора, меня не тянуло узнать о нем ничего такого, что могло бы сделать его в моем восприятии достойным государственным деятелем, вовсе не сатрапом и мракобесом, коим он действительно не являлся, а стало быть, не заслуживал удара кинжалом в центре Петербурга, на Михайловской площади. Ни один из реальных фактов не привлекал моего внимания, ни одно из неясных мест не побуждало к выяснению подробностей. Я нуждался в легенде, и того, чем я располагал, вполне хватало для ее формирования.

Система оценок жизни и личности Кравчинского строилась на принципиально иных, чем сверка легенды и действительности, основаниях: главным оказывалось предположение, что путь героя чист априори, ошибок допускать он не может в силу благородства цели, а убийства отдельных людей оправдываются опять-таки служением идее неизмеримо высшей, чем ценность отдельного существования. Это была этика революционного народничества, действие которой растянулось как минимум на столетие: недаром романтическая барышня Фанни Личкус, за которой Кравчинский безуспешно ухаживал, ответила на его чувства после убийства Мезенцова.

Описанный когнитивный процесс можно назвать *идеализмом второго порядка*.

Его следствием оказалась нравственная индифферентность к такому поступку, как совершение убийства, в частности, посредством террористического акта («индивидуальный террор» в революционной терминологии), причем не свойственная лично мне, а присутствовавшая в советской идеологии как естественная, органичная часть политической революционной культуры, внедрявшаяся в сознание со школьных лет. То, что называлось историей революционного движения, во многих аспектах не соответствовало истине и являлось легендой, а историей — лишь в смысле нарратива. Героизм — зерно любой легенды, ее концептуальная основа. За вычетом письменной передачи советская революционная легенда была сродни фольклору, и, как в устном народном творчестве, героем (советской истории, читай — легенды) проще всего было стать тому, кто совершал наименее дозволенное и естественное — убийство. Сила и храбрость пленяют нас, на что бы они ни были направлены: да, нас восхищает и альпинист, покоривший неприступную вершину, и врач, прививший себе смертельно опасную болезнь, но все же кровь — самый острый соус. Мировую славу Степняку-Кравчинскому принесла книга «Подпольная Россия» (начало 1880-х), в которой он изобразил русское правительство шайкой разбойников, а противостоящую им горстку революционеров — орденом рыцарей без страха и упрека. Каковыми многие из этих немногих, похоже, действительно являлись. Кравчинский страница за страницей воспевал их мужество и жертвенность, не уделяя ни строчки размышлениям о том, каким образом принесет свет и счастье униженным и оскорбленным «евангелие наших дней — социализм». Этому явно неглупому человеку, кажется, просто не приходило в голову, что причиной бедности народа является не только его эксплуатация «разбойниками», какими бы чудовищами они ни были, но и скандально низкая для «наших дней» урожайность, малоземелье, слабо развитое и примитивное производство. Не делается даже попыток прикинуть, сколько каждому крестьянину достанется земли, если ее всю отобрать у помещиков, какая сила, если не страх голода, заставит людей пахать в шахтах и горячих цехах, какие мотивы и ресурсы понадобятся для поддержания конкурентоспособной армии — и так далее, и так далее.

Лев Толстой был более последователен: он желал отменить всю современную цивилизацию. В его мире должен был остаться только крестьянский труд, а шахтам, доменным печам и вооруженным силам предстояло исчезнуть вместе со всей прочей господской дребеденью. Рыцари свободы не заморачивались трусливыми заботами о том, что будет, если революция каким-то чудом победит: их дело нанести удар в самое сердце разбойничьего гнезда, а за таким примером, глядишь, и народ поднимется. А если и не поднимется, все равно этот пример станет воодушевлять будущие поколения.

В юности Степняк-Кравчинский меня действительно воодушевлял...

И у меня тоже не возникало наипростейшего вопроса: что было бы, если бы народ все-таки поднялся и эти герои действительно победили? Чем их революция оказалась бы лучше большевистской, относительно которой у меня оставалось уже очень мало иллюзий?

Чем? Только тем, что народники были *красивы*, — разве этого мало? Обаяние социальных грез порождается не анализом земных подробностей (анализ как раз способен убить любую грезу), но именно свободой от подробностей, иллюзией отрыва от земли с ее несносными законами причинности. Вот почему эта сравнительно образованная молодежь не задумывалась о последствиях своих подвигов, не интересовалась анализом хотя бы их знаменитого современника Спенсера, уже тогда предсказавшего, что при социализме люди впадут в зависимость от своих уполномоченных. Кравчинский раскрывал причины этого удивительного легкомыслия с присущим ему и в жизни детским простодушием — революционное движение было не политическим и не экономическим, а *религиозным*: «Движение это едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким-то крестовым походом, отличаясь вполне заразительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения» (Степняк-Кравчинский, 1987).

Именно потребность в *личном* очищении и приводила к *социальной* безответственности: можно ли обсуждать выбор наименьшего зла, только и возможного в реальности, если речь идет о движении «к святой цели»!

Русский европеец — революционер

Наконец, можно говорить и об *идеализме третьего порядка*. В те годы, когда Степняк-Кравчинский, волей-неволей став русским европейцем, жил и работал в Швейцарии, Италии и Англии, в этих странах актуальность непосредственного революционного действия уже стояла под большим сомнением. Он же, как и многие его соотечественники, питался опытом Великой Французской революции не как прошлым, а как настоящим, действенным в текущей ситуации — и, смешивая эпохи, проецировал собственную рефлексию французских событий, замешенную на теории Карла Маркса, на современную ситуацию как в России, так и в Европе (это, кстати, один из источников идеи эскалации мировой революции по всем без исключений европейским странам). Тот же самый сценарий действовал и в случае других российских политических эмигрантов вплоть до В. И. Ленина. Можно смело сказать, что, живя в Европе в последнюю треть XIX в., ни Степняк-Кравчинский, ни кто-либо еще из его единомышленников в широком смысле слова (здесь не берутся в расчет идейные разногласия меж-

ду представителями разных революционных группировок) буквально не видели реальных исторических условий, в которых существовали в большинстве случаев по-буржуазному благополучно.

Это особенно интересно в связи с тем, что ни один из революционеров, к какому поколению он бы ни принадлежал, не упускал случая продемонстрировать основу своего мировоззрения — сугубый материализм. В случае Степняка-Кравчинского это была своего рода религия: в «Подпольной России» он ясно объяснил, что материализм — религия образованных классов, т.е. общности людей, а нигилизм — отдельно взятой личности, свободной от уз традиции, общества, семьи, официальной религии, т.е. всего того, что, по его мнению, угнетает личность в ее интимной жизни.

Удивительна скорость, с которой индивидуальная греза русского европейца-революционера (или грезы каждого из них) распространилась на массы людей, став таким образом грезой коллективной и сделав возможной большевистскую революцию 1917 г. Здесь, вероятно, огромную роль сыграла европейская составляющая, а именно постулат об индивидуальной свободе. Правда, на практике в Европе частная свобода неотделима от частной собственности, а в социалистической России частная собственность оказалась максимально дезавуирована, но на то и национальная специфика.

Рецепция образа героя

Влюбленная в героя Евгения Таратута в его биографии «С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель» (М., 1973) с полным одобрением передавала его суждения о том, что в мире есть одно счастье и одно несчастье: взаимоотношения с собственной совестью — либо согласие, либо разлад с нею. Это и есть этика убеждений, требующая поступать в соответствии со своими принципами, в отличие от этики ответственности, требующей думать прежде всего о реальных последствиях своих поступков.

В советское время, как мы видим, разговор об убийстве как поступке, никоим образом не нарушающем душевный мир героя, его согласие с совестью, велся совершенно естественно и нормально. Ничто не мешало построению дискурса на основе сочетания концептов «убийца — спокойная совесть — долг перед обществом», и поколения советских людей воспитывались на этом простом и прочном основании. Понятно, почему «достоевщина» оказалась бранным словом: мучения Раскольникова или одного из Карамазовых никак не вписывались в этот ряд. Надо сказать, что не только произведение Таратуты поражает сегодняшнего читателя этой специфической моралью и, соответственно, весьма вольным пониманием нормы поведения; во многом этот пафос присущ романам авторов, писавших биографии знаменитых деятелей в серии «Пламенные революционеры».

Надо заметить, что в этой сфере особняком стоят книги Ю. В. Давыдова, работавшего в жанре документального исторического, а лучше сказать — историко-психологического романа. Его роман «Соломенная сторожка. Две связки писем» приоткрывал другую сторону того, что считалось в те годы революционным подвигом...

Сам же я, принимаясь за новый роман, колебался, не следует ли избегать поэтических образов во внутреннем мире «нигилиста». Однако человеческая правда в том, что он должен впоследствии отречься от нигилизма. Не слишком ли, думал я, сложно это стилистически, ведь поэзия и бытовая достоверность убивают друг друга. Но решил пожертвовать бытовым правдоподобием. «Их» идеализм и не мог бы довольствоваться никакой рационализацией. Но мой герой впервые задумывается всерьез и разочаровывается. Чего не произошло с реальным историческим Степняком-Кравчинским.

Однако свой роман я пишу сейчас.

Под сегодняшним углом зрения

Кравчинский не раз говорит о том, что подвиг важнее мысли: неважно, кто чего хотел, важно, кто что сделал, в истории живут только дела. Что явно неверно — в истории живут только слова, только легенды, и сам Кравчинский с его портретной галереей демонстрирует это как нельзя лучше.

Криминальными психологами давно выделен тип личности, в опасной ситуации испытывающий не страх, а гипероптимизм, и Кравчинский при всем благородстве его идеалов тоже бывает счастлив лишь под дамокловым мечом ареста и неизбежной казни. В эти дни и недели он испытывал, как сам отмечал, особое наслаждение жизнью, свободой: все это может в любой миг исчезнуть, нужно ловить счастье на лету. А во всей остальной Российской империи, если исключить пиршество сатрапов, он видел лишь страдания народа и трусливое прозябание интеллигенции. Россия Толстого, Достоевского, Чайковского, Мусоргского, Чехова, Менделеева, Бутлерова, Пирогова, Докучаева, Столетова, Пржевальского, Чебышева, Ляпунова (а на подходе был уже весь Серебряный век) представлялась ему выжженным полем, ибо если правительство не позволяет осуществиться грезам его друзей, то все прочее не стоит и внимания: когда лучшие, наиболее пылкие умы безжалостно уничтожаются, остается мало простора для развития национального гения, уверен Кравчинский. Однако... Наиболее пылкие далеко не обязательно лучшие. И даже подлинно лучшие умы были отняты у национального гения прежде всего политической химерой, уже не оставлявшей талантам возможностей для развития. Именно химера пожирала российские таланты, властям доставались лишь объедки.

Николай Морозов, «шлиссельбуржец», обладавший огромными научными дарованиями, включая пламенную страсть к всевозможным знаниям и грезы о путешествиях, еще гимназистом убежденный в том, что лишь наука способна накормить и освободить людей от тяжести физического труда, вспоминал об этом так:

«Когда зимой 1874 г. началось известное движение студенчества “в народ”, на меня более всего повлияла романтическая обстановка, полная таинственного, при которой все это совершалось. Я познакомился с тогдашним радикальным студенчеством совершенно случайно благодаря тому, что один из номеров рукописного журнала, издаваемого мною и наполненного на три четверти естественно-научными статьями (а на одну четверть стихотворениями радикального характера), попал в руки московского кружка “чайковцев”, как называло тебя тайное общество, основанное Н. В. Чайковским, хотя он к тому времени уже уехал за границу. Особенно выдающимися представителями его были тогда Кравчинский, Шишко и Клеменц, произведшие на меня чрезвычайно сильное впечатление, а душой кружка была “Липа Алексеева”, поистине чарующая молодая женщина, каждый взгляд которой сверкал энтузиазмом.

Во мне началась страшная борьба между стремлением продолжать свою подготовку к будущей научной деятельности и стремлением идти с ними на жизнь и на смерть и разделить их участь, которая представлялась мне трагической, так как я не верил в их победу. После недели мучительных колебаний я почувствовал, наконец, что потеряю к себе всякое уважение и не буду достоин служить науке, если оставлю их погибать, и решил присоединиться к ним» (Морозов).

Снова на первом месте не народный стон (Толстой как-то обронил: народ нигде не стонет, это либералы повыводывали, — Толстого в крестьянах как раз и восхищало прятие жизни какова она есть), на первом месте самоуважение. Так что вполне естественно, что и у террориста на первое место, по Кравчинскому, выходит гордость: «Гордый, как сатана, возмущившийся против своего бога, он противопоставил собственную волю — воле человека, который один среди народа рабов присвоил себе право за всех все решать» (Степняк-Кравчинский, 1987). Как будто хоть один верховный правитель хоть что-то решает один, не взвешивая и не перевзвешивая все попутные и противостоящие силы, против которых даже и он мало что может.

Это только у благородных младенцев на все вызовы мира имеется универсальное фельдшерское средство. Голод? Единственным спасением будет созыв

Земского собора. С чего, почему? Чем он поможет? Нет не только ответа, но и вопроса. Именно террорист, по Кравчинскому, и решает один за всех: «Он борется за себя самого. Он поклялся быть свободным и будет свободен во что бы то ни стало. Ни перед каким кумиром не преклоняет он колена. Он посвятил свои сильные руки делу народа, но уже не боготворит его. И если народ в своем заблуждении скажет ему: “Будь рабом!” — он с негодованием воскликнет: “Никогда!” — и пойдет своей дорогой, презирая его злобу и проклятья, с твердой уверенностью, что на его могиле люди оценят его по заслугам» (Степняк-Кравчинский, 1987).

Самоотверженность дает право на неподсудность: если-де террористы были и неправы, то не в тысячу ли раз более неправы те, кто не помогал им в их отчаянной борьбе? Снова полное презрение к логике: ведь если первые были неправы в их отчаянной борьбе, то вторые, воздерживаясь от участия в ней, были, следовательно, совершенно правы. Однако пламенный пропагандист понимает, что правыми мы ощущаем всех, кто вызывает наше сочувствие, а неправыми — тех, кто нам противен. Народовольцы просили Кравчинского возбуждать в Европе «презрение и ненависть к русскому правительству», и он в этом вполне преуспел: многие англичане и американцы после его книг и выступлений признавались ему, что в России и они бы сделались террористами.

Ему подпевал даже пророк экономического детерминизма Фридрих Энгельс: политическое-де убийство в России — единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди. Так что же, Чехов, Чайковский, Менделеев недостаточно уважали себя? Да они именно что слишком уважали себя и свое дело, чтобы ввязываться в борьбу безумцев и мерзавцев, благородных младенцев и преданных долгу тупиц.

И, собирая в Америке деньги на революцию, Кравчинский снова на первое место ставил достоинство, а не практический результат: я, конечно, понимаю, что нужно применяться к обстоятельствам, но только в такой мере, в какой это не противоречит нашим личным понятиям о приличии и достоинстве; а делать из себя паяцев, чтобы американцев задобрить, — нет, слуга покорный, почему бы уж тогда было не облизывать русского императора, чтобы смягчить его сердце? И вообще, вся наша агитация имеет значение лишь настолько, насколько она производит действие на умы и чувства *в России*; если бы русские не обращали внимания на него, то всему американскому общественному мнению была бы цена *ровно нуль*.

Но он продолжал твердить до самой смерти: *непреходящие* интересы культурного мира лежат в *свержении самодержавия в России*. То-то порадовался культурный мир, когда в семнадцатом году его непреходящие интересы были наконец удовлетворены!..

«Каждый шаг России к свободе уменьшает опасность ее военной экспансии», — успокаивал Запад Кравчинский: российская «свобода» и прилетела на крыльях грезы о мировой революции от Японии до Англии.

Кравчинский был не только человеком исключительной храбрости, но и редкой верности и доброты по отношению к соратникам, невзирая на любые идейные расхождения. Однако истории ничего не стоит любые доблести обратить во зло и вымостить благими намерениями дорогу в ад.

И такими ли уж благими были эти намерения, если скрытой целью движения было вовсе не благополучие народа, о страданиях которого, по признанию того же Морозова, они узнали из поэзии Некрасова, а высокая самооценка его участников?

Тут возникает главный вопрос — зачем нам нужна еще и высокая самооценка, когда материальное благополучие и без нее обеспечено? Униженность в миру ранит нас так жестоко из-за того, что открывает нам нашу униженность в мироздании, нашу смертность, бренность и хрупкость, тотальную зависимость нашего высокого духа от низкой материи. Для защиты от этого убийственного знания и создаются религиозные учения, в рациональные эпохи выступающие под маской социальных теорий. Художественные, любовные фантазии тоже порождаются грезой о чем-то неземном, и потому о природе терроризма можно больше узнать из потрясшего меня в свое время романа Кравчинского «Андрей Кожухов», чем из его публицистики, вынужденной гримировать гордецов, борющихся за самих себя, в народных заступников. Кравчинский и сам желал изобразить не их политические программы, а их «сердечную и душевную сущность». Полнее всего раскрывающуюся в слиянии темы любви и темы смерти («любовь и кровь»).

«Андрей Кожухов»¹

Перечитаем же этот роман, не придираясь к обилию штампов и стереотипности женских образов: все красивые, все гордые, без специальных усилий не вспомнить, которая Лена, а которая Таня, Таню начинаешь выделять, только когда она становится возлюбленной главного героя. А он, Андрей Кожухов, «самый обыкновенный из всех». Что сделано не случайно, Кравчинский «всегда находил, что рядовые бойцы самые лучшие. Те, кого мы называем вожаками, намного хуже, если даже они гораздо сильнее». И ясно почему — вожаки ведут борьбу за собственное величие гораздо более откровенно. А Андрей до поры до времени ни на что особенное не претендует, он вполне готов раствориться в общем деле.

Пока не обнаруживается, что его любимая девушка любит другого, более блестящего и поэтически одаренного, а он, Андрей, для нее всего лишь соратник по

¹ Роман С. М. Степняка-Кравчинского цитируется по источнику: http://az.lib.ru/s/stepnjakkrawchinskij_s_m/text_0030.shtml

борьбе, хотя ему долго казалось, что этого вполне достаточно — слияния в общем религиозном энтузиазме (прежде же для него любовь и вовсе была «этими глупостями»). Вначале он ищет мрачных самоутешений в том духе, что пусть-де цветы срывают баловни судьбы, а с них, скромных тружеников, довольно и терний. Но подавленная обида находит выход сначала в злорадном торжестве над безответно любившей его другой девушкой. А затем обрушивается и на «изменницу», пожелавшую в другом городе заняться пропагандой уже не среди рабочих, а среди интеллигенции. Однако личная уязвленность и здесь выступает под маской идейности: это-де такая скука — повторять одно и то же среди простых рабочих, то ли дело блистать между светскими пустомелями, способными разносить славу во все концы, революционеры из аристократии только-де драпируются в демократический плащ...

Но чуть только «аристократка» со слезами признается в любви к нему, как все обличительные теории вмиг забыты. А личное счастье, общее дело и смертельная опасность начинают поддерживать друг друга: Андрей и Таня любят друг в друге еще и «олицетворение высокого идеала», а «мрачное будущее не портило красоты настоящего. Оно придавало лишь бóльшую цену каждому часу, каждой минуте, проведенной вместе». И ключевое слово здесь — красота: именно погоня за красотой заставляет террориста ставить свое благополучие и жизнь на карту.

И красота, и любовь — суррогаты религии, и Андрей это почти осознает: «Когда я был мальчиком, я был очень религиозен. Потом мне часто приходилось слышать, что только религия дает самые высокие, чистые настроения души. Но когда я — с тобой и твоя рука покоится на моей голове или когда наедине я начинаю думать о тебе, я испытываю ту же сладость смирения, то же стремление к поклонению, ту же страстную потребность нравственной чистоты и самопожертвования, как и в былые времена религиозного детства. Я рад тогда сознаться в моих недостатках и слабостях, и я страстно желаю очиститься от них, чтобы без страха предстать потом перед тобой...».

И жажду мученичества в нем пробуждает тоже женщина, которую он видит на эшафоте.

«Но со всяких подмостков над толпой царит женщина. Все эти тысячи глаз, казалось, смотрели на одно лицо, видели одну фигуру — ту, что сидела по правую руку Бориса. Прекрасная, как только может быть прекрасна женщина, с головой, окруженной как бы ореолом светлых развевающихся волос, она обводила добрым, жалостливым взглядом теснившуюся у ее ног толпу, у которой в эту минуту было к ней одно чувство.

...Ни тогда, ни после Андрей не мог понять, как это сделалось, но только в эту минуту все изменилось в нем, точно в этом добром, жалостливом взгляде

были какие-то чары. Тревога и страх, негодование, жалость, месть — все было забыто, все потонуло в каком-то великом, невыразимом чувстве, охватившем все его существо. Это было нечто большее, чем энтузиазм, большее, чем готовность на всякие жертвы. Это была положительная жажда мученичества, внезапно пробудившаяся в нем. Он всегда порицал это чувство в других и считал себя самого совершенно к нему неспособным, но теперь оно переполнило его душу и сердце, трепетало в каждой фибре его существа. Быть там, среди них, на этой черной, позорной колеснице, с плечами, привязанными к деревянной доске, подобно этой женщине, склоняющей над толпою свое лучезарное лицо, — это была не казнь, не жертва, а выполнение страстного желания, осуществление мечты о высочайшем счастье!»

Но когда он пытается разделить свой религиозный экстаз с любимой женщиной, он терпит полное фиаско: «Таня оставалась холодной, равнодушной. То, что минуту назад пронзило бы ей сердце, теперь отскакивало от нее, как стрела от кольчуги»: близость смерти и сама смерть — дьявольская разница.

И она уступает вовсе не идее, а жалости: она видит, что он действительно страдает невыносимо.

«Удар должен быть нанесен. Отказаться от нападения из-за любви к тебе? Да я чувствовал бы себя трусом, лжецом, изменником нашему делу, нашей родине. Лучше утопиться в первой попавшейся грязной луже, чем жить с таким укором совести. Как мог бы я это вынести и что случилось бы с нашей любовью?»

И она сдалась. «Она так глубоко его жалела, что не в силах была отягчать его участь своим сопротивлением».

Однако, когда из огромной, но в принципе могущей и миновать опасности смерть превратилась в неотвратимый приговор, она породила уже не обостренную радость жизни, но, напротив, безразличие ко всем земным делам.

«Для него самым существенным было то, что он должен умереть. Покушение было делом второстепенным, о котором он будет думать, когда очутится на месте. А покамест он не мог заставить себя интересоваться им. Он думал о своем: он готовился умереть. Остальное как будто его не касалось.

Странная вещь случилась с ним на другой день после собрания, на котором он виделся с Таней. Вычищая и приготавливая револьвер, которым он собирался стрелять в царя, Андрей сломал пружину. Отдавать его в починку было некогда, тем более что подоспел какой-то праздник. Тогда один из товарищей предложил ему свой револьвер, аттестуя его необыкновенно метким, и Андрей согласился на обмен, доверившись на слово; он ни разу не попробовал своего нового оружия в тире или в поле. Прежде он никогда бы не сделал такой

оплошности. Но теперь все его умственные и нравственные силы были так поглощены предстоявшею личною развязкою, что он слишком мало обращал внимания на все остальное.

С приближением рокового момента этот эгоизм самопожертвования становился всепоглощающим и все более и более повелительным».

Мало того, что он не смог попасть в царя из непристрелянного револьвера, — этот эгоизм отравил и его прощание с любимой: он говорил лишь о подробностях предстоящего покушения, «как будто это было самым приятным сюжетом для их беседы».

«Таня отодвинулась немного и смотрела на него широко раскрытыми глазами. Она не слушала его, она только наблюдала за ним с удивлением. Чем дальше Андрей распространялся, тем сильнее росло ее изумление. Зачем он рассказывает ей все это? Казалось, и ему самому это неинтересно, потому что говорил он сухо и монотонно. Лицо его хранило то же каменное выражение, которым она так была поражена, когда он вошел, только оно еще резче обозначилось. Она не узнавала своего Андрея. Этот человек был чужим для нее.

“Они его там подменили!” — внутренне говорила она себе, между тем как его рассказ неприятно резал ее слух. Ни слова любви, симпатии, ни ласкового взгляда! И это — в их последнее свидание, перед тем, как расстаться навсегда, после той любви, какую они жили!..

“Да, да, они его подменили! Это не мой Андрей... Мой был другим человеком...” — повторяла она, кусая засохшие губы и глотая слезы, чтобы окончательно не потерять самообладания.

Его рассказ и объяснения раздражали ее. Наконец она не выдержала.

— Да ну его, вашего царя, со всеми вашими хитростями и вашими часовыми! — воскликнула она в негодовании.

— Таня! — произнес он с огорчением.

В своем отчаянии она схватилась за голову. Ужасно было так обращаться с ним в такую минуту.

— Прости меня! — промолвила она и, схватив его руку, припала к ней головой. — Я сама не знаю, что говорю.

Она оставалась все в том же положении, склонясь над его стулом. Волосы упали ей на лицо, ее губы были раскрыты, она тяжело дышала.

Андрей думал, что она плачет, и сердце его разрывалось на части. Но как мог он ее утешить? Что мог он ей сказать, что не было бы бледно и мелко, что не вышло бы профанацией ее великого горя? Он с нежностью гладил ее по голове и старался привести в порядок ее волосы.

Когда она подняла голову, он увидел, что она не плакала. Глаза ее были сухи и горели лихорадочным огнем. Она пристально посмотрела на него и отвернула голову, ломая руки.

Она знала, что он сейчас уйдет и что, умри она тут же, на месте, от разрыва сердца или разбей себе голову об стену, все равно ничем его не удержишь; не удержишь его даже на оставшиеся три дня, которые он мог бы ей подарить! В камне оказалось бы больше сострадания, чем в нем. Он только почувствовал бы к ней презрение за ее слабость, если б она обмолвилась хоть одним словом об этом! Зачем же он и вовсе пришел?

Андрей встал.

— Прощай, моя дорогая! — прошептал он, протягивая к ней руки.

Она вздрогнула, как будто услышала нечто совершенно неожиданное.

— Нет, нет, погоди! — воскликнула она с испугом. — Погоди! — повторила она громче, умоляющим голосом.

Он притянул ее к себе и сжал ее в своих объятиях.

— Прощай! — повторил он. — Пора... Таня, моя голубка, моя родная, — вырвалось из самых недр его души. — Как бы мы могли быть счастливы с тобою!

Она посмотрела ему в глаза и узнала наконец своего Андрея, любимого, которого она так обидела в своих мыслях! Она вернула его себе, чтобы еще мучительнее почувствовать, что сейчас же и бесповоротно его потеряет.

Она почти лишилась сознания от боли. Неужели это правда?... Это невозможно... Любить, как они любили друг друга, и вдруг отпустить его прямо на смерть... Но жить без него она не может. Он — ее жизнь, он — свет ее души. Не ее вина, что он стал для нее всем на свете...

— Послушай, Андрей, — вскричала она, — ты мой! Ты сам мне это говорил, и я не пущу тебя. Не пущу! Слышишь?

Слова ее представлялись ее расстроенному уму вполне логичными, неопровержимыми.

Но тотчас вслед за тем пальцы, вцепившиеся в его руку, разжались. Она наклонила голову и опустила в кресло, бледная, истомленная, с закрытыми глазами, и махнула ему рукой, чтоб он уходил.

Было на свете нечто более великое, для которого они дали обет пожертвовать всем: жизнью, сердцем, помыслами, счастьем».

Когда же он все-таки убегает, сквозь «идейность» снова прорывается правда: «Дело! Россия! Они не существовали для нее в эту минуту. Она думала только о себе, о своем несчастье — бесконечном, безмерном, которое будет длиться до последнего ее издыхания...» Художник в который раз оказался умнее, тоньше и

правдивее пропагандиста. И не скрыл, что Андрей тоже идет на свой подвиг безо всякого воодушевления.

«Он был в это утро в каком-то особенном настроении, столь же далеком от унылой покорности, как и от экзальтированности и вообще от какой бы то ни было страстности. Он впал в равнодушно-холодное состояние души человека, покончившего все счеты с жизнью, которому нечего более ждать впереди, нечего бояться и нечем поделиться с другими. Правда, ему предстояло еще совершить свой подвиг. Но так много препятствий уже удалось преодолеть на пути, что то небольшое, что оставалось сделать, казалось ему до такой степени несомненным и неизбежным, что он считал его почти совершившимся.

Будучи еще в живых и в полном обладании нравственных и физических сил, он в то же время испытывал странное, но совершенно реальное ощущение, что он уже умер и смотрит на себя, на всех близких и на весь мир с ровным, несколько сострадательным спокойствием постороннего наблюдателя.

...Он знал, что когда все кончится для него и когда без страха и злобы он завершит дело своей жизни и станет наконец лицом к лицу с великой торжественностью смерти, то снова переживет те прекрасные, возвышающие дух чувства и они поддержат его в последнем испытании».

Боюсь, он и в этом ошибся. Ибо красота есть лишь в смертельном риске, в смерти красоты нет. Тем более в такой смерти, какую выбрал Андрей Кожухов. Роман заканчивается тем, что герой, чьей задачей было выстрелить в царя из револьвера, сначала благополучно минует кордон из охранителей-шпионов, затем же, нарушив предварительный план, стреляет в императора и промахивается, после чего явно теряет присутствие духа и начинает бездумно палить. Император, напротив, бежит от него зигзагами и остается цел и невредим. Кожухова окружают шпионы. Полуживого после избиений, его привозят в тюрьму. Там он оправляется, его судят и казнят.

Художник Кравчинский снова оказался дальновиднее революционера Кравчинского. Ибо в такой смерти нет не только красоты — славы в ней тоже нет. Слава «Народной воли» иссякла вслед за принудительной советской романтизацией.

Хотя свинства российского капитализма вполне способны ее возродить.

Литература

- Морозов Н. А.* Повести моей жизни. Том 1 // URL: <https://itexts.net/avtor-nikolay-aleksandrovich-morozov/74404-povesti-moye-zhizni-tom-1-nikolay-morozov/read/page-1.html> (дата доступа 16.02.2019).
- Таратута Е. А.* (1973). С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. М.: Художественная литература.
- Степняк-Кравчинский С. М.* (1987). Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Россия под властью царей. Подпольная Россия // Комментарии Н. М. Пирумовой, М. И. Перпер. М.: Художественная литература // URL: http://az.lib.ru/s/stepnjakkrawchinskij_s_m/text_0010.shtml (дата доступа 16.02.2019).
- Якимовская-Диковская А. В.* (ред.). (1930). «Народная воля» в документах и воспоминаниях. М.: [Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев].

References

- Morozov N. A.* Povesti moyey zhizni. Tom 1 // URL: <https://itexts.net/avtor-nikolay-aleksandrovich-morozov/74404-povesti-moye-zhizni-tom-1-nikolay-morozov/read/page-1.html> (data dostupa 16.02. 2019).
- Taratuta Ye. A.* (1973). S. M. Stepnyak-Kravchinskiy — revolyutsioner i pisatel'. M.: Khudozhestvennaya literatura.
- Stepnyak-Kravchinskiy S. M.* (1987). Sochineniya. V 2-kh t. T. 1. Rossiya pod vlast'yu tsarey. Podpol'naya Rossiya // Kommentarii N. M. Pirumovoy, M. I. Perper. M. : Khudozhestvennaya literatura // URL: http://az.lib.ru/s/stepnjakkrawchinskij_s_m/text_0010.shtml (data dostupa 16.02.2019).
- Yakimovskaya-Dikovskaya A. V.* (Red.). (1930). «Narodnaya volya» v dokumentakh i vospominaniyakh. M.: [Vsesoyuz. o-vo polit. katorzhan i ssyl'no-poselentsev].